

ШКОЛЬНАЯ  БИБЛИОТЕКА

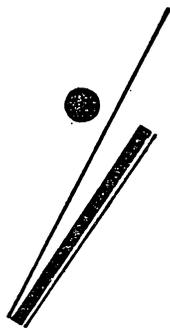
**ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ**
**СПЛОШНОЕ
СЕРДЦЕ**



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

МЯКОВСКИЙ

ВЛАДИМИР



**СПЛОШНОЕ
СЕРДЦЕ**

СТИХОТВОРЕНИЯ И ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1983

P2
M39

Составление, предисловие и примечания
Вл. Смирнова

Оформление
Г. Метченко

М 4803010101—390 147—83
M101(03)83

© Состав, предисловие, примечания, оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

«СПЛОШНОЕ СЕРДЦЕ»

Поэтическое слово насущно. Оно утоляет голод сердца и души. «Болящий дух врачует песнопенье»,— писал некогда Евгений Баратынский. А вот что сказано Маяковским в 1914 году: «Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства. Каждый же период жизни имеет свою словесную формулу». Сколь рано и полно был осознан поэтом смысл собственного творчества! В этих словах, в самой сжатой форме, дана программа того, что надлежало Маяковскому сделать и что он сделал, что сработали «поэзии мозолистые руки».

Маяковский — великий поэт великой революции. И прежде всего таким воспринимают его сегодня миллионы людей на нашей планете. Это уже азбука мировой культуры XX века. Но во всяком азбучном явлении есть как очевидность, не требующая доказательств, так и нечто таинственное (речь, разумеется, не о биографической или исторической тайне с налетом авантюриности). Кто с малолетства не знает в наш просвещенный век, что Пушкин — великий поэт, Лев Толстой — великий писатель, Рембрандт — великий художник, Моцарт — великий композитор? Подобное легко знать. Но чтобы постичь это и разделить собственным опытом, нужна долгая и тяжелая работа сердца, души, ума. Только тогда содеянное великими становится тем, без чего уже нельзя жить и быть человеком.

Величие Маяковского не только в поэтическом свиде-

тельстве о революции, но в трагедийной напряженности этого свидетельства, в огромной духовной расточительности, в каком-то глобальном морализме, человеческой и художественной честности. Голос Маяковского был не только громок, он был подлинен. Даже противники Маяковского (их было немало и при жизни поэта, и после) не могли что-либо сказать о неискренности поэта, лживости, фальши, а время было крутое, в определениях и выражениях не стеснялись.

Источник подлинности — сердце художника, способность и умение правдиво выразить жизнь души и духа человека в обстоятельствах времени — личного и исторического. Маяковский это сделал применительно к «личности в Революции». И не просто личности, а личности передовой, сознательной, социально активной, в известном смысле — личности будущего, ради которой и свершался Октябрь. И фраза из автобиографии поэта «Я сам»: «Моя революция!» — глубоко знаменательна.

В революцию людей приводит социальный инстинкт, мировоззрение, жизненный опыт и... сердце. В тезисах Маяковского к одному из выступлений 1927 года есть такая запись: «Чувство любви, на котором растёт коммунизм». А несколькими годами раньше, во время работы над поэмой «Про это», им было написано: «Исчерпывает ли для меня любовь всё? Всё, но только иначе. Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и всё пр. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявляться во всем...» Легко заметить, как в этом фрагменте настойчиво и в глубинной нераздельности звучат три слова: «Любовь», «Сердце», «Всё». Не будет преувеличением сказать, что именно эти стихии или, пользуясь выражением Блока, «лирические величины» одушевляли, питали, оправдывали, даровали достоинство правды строкам Маяковского.

До сих пор все еще встречается школярское деление поэзии на гражданскую и интимно-лирическую. История русской поэзии знает такие противопоставления: Некрасов — Фет, Маяковский — Есенин... Более того, было время, когда у нас, а кое-где за границей и до сих пор, с намерениями не очень чистыми, рассуждали о некоем «двойнике» Маяковского, о чистом лирике, сознательно принесенном в жертву социальному долгу, волевой обязанности. Одним словом, служению. Утверждали, что «агитатор, горлан-главарь» погубил настоящего поэта, ибо небожительница-поэзия и социальная революция — вещи несовместимые.

Лучше всего противостоит этим домыслам сам Маяков-

ский. Он оставался великим поэтом с первого и до последнего дня своей жизни, «сплошным сердцем», «навечно раненным любовью», открытым «болям, обидам, бедам» не в меньшей степени, чем высоким и радостным чувствам. Мудро сказал о Маяковском прекрасный русский писатель Андрей Платонов: «Он был мастером большой, всеобщей жизни и потратил свое сердце на ее устройство».

Итак, любовь была для Маяковского «всем». И это «всё» было в полном смысле «всем»: революцией, страной, миром, народом, друзьями, женщинами, которых любил поэт. И то, что для многих является сугубо личным, интимным, у Маяковского наполнено разноголосицей жизни и поднято до космических масштабов в утверждении и в отрицании. Об этом хорошо у Блока: «В эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой». Такая вот эпоха и выпала на долю Маяковского.

Маяковский пришел в русскую поэзию в последнее предоктябрьское пятилетие. Его первые вещи напечатаны в 1912 году. И они сразу же стали явлением. А русская поэзия тех лет — это Блок и Бальмонт, Бунин и Брюсов, Анненский и Соллогуб, Белый и Вяч. Иванов. А рядом тогдашние молодые — Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Хлебников, Есенин, Клюев... Период «Бури и Натиска» в отечественной поэзии XX века. Богатство идей и форм, столкновения и полемика на фоне все убыстряющегося хода истории, неминуемой революции. Юный Маяковский в самой гуще идейно-художественной борьбы эпохи. Могучий реформатор искусства, он введом «пафосом социалиста, знающего неизбежность крушения старья» («Я сам»). В те годы Маяковский один из лидеров футуризма, направления в русском искусстве очень противоречивого, сложного. В деятельности футуристов было много шума, скандала, трюкачества, желания привлечь к себе внимание публики любыми средствами, подразнить сытого обывателя. Но было и нечто настоящее — решительное отвержение существующего миропорядка, салонной культуры, стихийный демократизм, борьба за обновление поэтического языка.

Особенности манеры раннего Маяковского (ритмика, образ, темы) можно понять лишь в соотнесении с родственными явлениями искусства, и более всего с живописью. Следует помнить об отталкивании Маяковского и его товарищей от культурной традиции, отталкивании полемическом. Предстояло разрушить канон эстетствующей гладкописи (банальщина, «роковые» поэтизмы, нагромождение «красот»), приблизить поэтическую речь к разговорному языку, заставить

говорить фабричные трубы, мостовые окраин, громады городских домов, реальные социальные контрасты. Язык предшественников для этого не годился. Мир изменился бесповоротно. Большой капиталистический город, его чудовищная красота, его кошмары, площадь и масса — вот лишь некоторые темы молодого Маяковского. Но Маяковский с первых шагов не просто изобразитель, формотворец (это в особенности отличало его от других футуристов). Он пришел с «громадой-ненавистью», «громадой-любовью», с решительным убеждением, какими должны быть человек и жизнь. Идеальные же представления о жизни плохо согласуются с ней самой. Большой частью здесь исток страдающей личности, страданий вообще.

Ранняя поэзия Маяковского — неистовый бег в поисках человека, души родной, любви, счастья.

Маяковский — максималист. Требования его огромны. Согласиться на нечто милое и маленькое он не может по природе своей:

Пройду,
любовищу мою волоча.
В какой ночи,
бредовый,
недужной,
какими Голиафами я зачат —
такой большой
и такой ненужный?

(«Себе, любимому, посвящает эти строки автор»)

Человек обречен на жуткое одиночество в страшном мире.

Мотивы трагического одиночества личности передаются Маяковским гневно:

Нет людей.
Понимаете
крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?

(«Надоело»)

Нет людей, нет человека, есть лишь толпа —

Мокрая, будто ее облизали,
толпа.
Прокишный воздух плесенью веет.

(«Эй!»)

Образ боли, мучительства, неисцелимой болезни — таков город молодого Маяковского, «адище города», «где у раненого солнца вытекал глаз» и «ковыляла никому не нужная, дряблая луна». Казалось бы, солнце, луна благодаря тысячам стихов стали чем-то бесспорно поэтическим, обязательной принадлежностью рифмованного вздора. Эстетику раннего Маяковского скорее следует назвать антиэстетикой. Это было сознательным актом, борьбой с расхожей «поэтичностью» во имя подлинно поэтического. И действительно, подобные образы передают неблагоприятные времена и общества жестоко, без мелодраматической чувствительности, не делая страшное и кошмарное «удобным для восприятия». Новое видение мира толкает и к новому к нему отношению. До Маяковского в русской поэзии луна, например, была всякой: трагической, романтической, иронической, жестоко-мещанской. Но вот «дряблой» она не была. За таким образотворчеством стоит смелость не только художественная, смелость новатора, но и, не в меньшей мере, смелость строителя мира. «Дряблая луна» или «вытекший глаз солнца» — символы, и стоит сказать, реалистические символы недоблжного порядка вещей. Речь поэта у раннего Маяковского чаще всего уподобляется крику:

Я вышел на площадь,
выжженный квартал
надел на голову, как рыжий парик.
Людям страшно — у меня изо рта
шевелит ногами непрожеванный крик.

(«А все-таки»)

Соратник Маяковского, выдающийся ученый-филолог и писатель Юрий Тынянов очень точно назвал стих поэта «митинговым, криковым, рассчитанным на площадной резонанс». Формальные новшества Маяковского вовсе не были самоцелью, эстетической игрой, нарочитостью и стремлением во чтобы то ни стало быть оригинальным, как казалось, а порой и кажется многим. Новое художественное зрение, за которым стояло вполне определенное мирозерцание, точнее — мироотношение, требовало и новых изобразительных средств:

свободной ритмики, ораторской интонации, грандиозного образа-метафоры, в котором связаны понятийные крайности: высокое — низкое, преувеличенное — преуменьшенное, патетика — ирония и т. д.

Маяковский не просто бунтарь, судья, обличитель, пророк. Он — борец. И потому так неотразимы, так могущественны его «нет», «долой», что за ними всегда ощущается, провидится твердое и ясное «да». Буржуазное общество довольно легко приручает бунтарей славой, деньгами, многим. С Маяковским этого не произошло и не могло произойти. Свою тему он осознал очень рано как тему революционную. Так родилась первая поэма Маяковского «Облако в штанах», четыре части которой поэт назвал «четырьмя криками» — «долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию». Здесь Маяковский уже большой мастер, свободно и дерзко распоряжающийся словом и ритмом.

В «Облаке в штанах», как и в написанных до Октябрьской революции поэмах «Флейта-позвоночник», «Война и мир», «Человек», в трагедии «Владимир Маяковский», поэт говорит и о любви — той, что есть, и той, что будет:

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.

(«Флейта-позвоночник»)

Все дореволюционное творчество Маяковского — трагическая исповедь сердца:

До края полное сердце
вылью
в исповеди!

(«Ко всему»)

Любовь-страдание, любовь-мука преследовала Маяковского. Превращение высокого и прекрасного чувства в боль, отчаяние, горечь — старо как мир. Тяжесть любви давно осознана человечеством. Немыслимость жизни без любви — также. Не о том ли русская пословица — «Любить тяжело, не любить тяжелее того». Поэт не мог и согласиться с несбыточностью любви вообще, ее запредельностью. «Беззвездная мука» непереносима:

Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Это строки из шедевра молодого Маяковского — стихотворения «Послушайте!» (1914). Звезды, звездное небо испокон веков были олицетворением света и вечности добра. В этом смысле «звездное небо» — важнейшая тема мировой культуры. Как моряки держат курс корабля по звездам, так человек должен следовать нравственному закону, простому для понимания и трудному для исполнения, отклонение в том и другом случае — плачевно. Вот известное суждение философа Канта: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением, чем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне». В русской литературе этот «этический космозизм» получил гениальные воплощения (Тютчев, Фет, Заболоцкий...). И безусловно, не случайны последние строки романа «Белая гвардия», написанного современником Маяковского Михаилом Булгаковым: «Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?» Помимо всех собственно поэтических достоинств, стихотворение «Послушайте!» поражает родством с великой традицией русской литературы. Маяковский — новатор с постоянной опорой на глубочайшие духовные традиции. Без такой опоры великий художник состояться не сможет.

Понимая неизбежность падения старого мира и способствуя приближению этого краха своим творчеством, Маяковский не мог не связывать все свои надежды с социалистической революцией. Верилось, что из ее очистительного огня родится новый человек, новая мораль, быт. Ведь коммунизм, как мы помним, растет на «чувстве любви». Маяковский был не одинок в своих надеждах. И Блок радостно провидел в революции возможность «переделать всё». Маяковским была давно осознана глубинная родственность социальной революции и революции в искусстве, революции в самом человеке. Хорошо известно, что делал и писал поэт во время революции и гражданской войны. Маяковский среди очень немногих представителей художественной интеллигенции активно сотрудничает с Советской властью с первых дней ее существования. Приходилось делать самую черновую работу, в которой

нуждалась молодая республика. Маяковский пытается сплотить в единый фронт представителей прогрессивного искусства, выступает в рабочих и солдатских аудиториях. Деятельность поэта в знаменитых «Окнах РОСТА» — также рабочее служение революции. В стихотворениях, статьях, выступлениях он обрушивается на все, мешающее созиданию нового в жизни и искусстве. Аскетизм и строгость времен «военного коммунизма» не очень согласовались с «интимными чувствами». Дел и бед в стране было по горло. «Служилый» стих Маяковского той поры как-то не очень вязался с чистой лирикой. Но поэт не стал бы великим художником, если бы служил лишь злобе дня. Не менее истово он служил «добру» дня и вечности.

В 1922—1923 годах появляются поэмы Маяковского «Люблю» и «Про это». Даже близким поэта они показались странными, таким «лирическим отступлением» с передовых позиций классовой борьбы.

Человек меняется немыслимо медленно. Уверенность многих, что революция как-то сразу все и за всех решит, переплавит, очистит, оказалась как бы обманутой. Чудовищное прорастание быта из-под развалин прошлого породило много разочарований, идейных перерождений. О шараханьях и метаниях, вызванных тактическим отступлением революции (нэп — безработица, возвращение торгаша, мельтешенье мещанства и многое, что казалось навсегда унесенным ветром революции), говорил В. И. Ленин. Смысл и содержание нэпа поняли далеко не все. Это сказалось и в художественной литературе тех лет.

Маяковский счел своим долгом высказать горькую правду и подтвердить незыблемость идеалов. На этой почве и родились обе поэмы. Поэт баррикад, социалистического строительства вдруг заговорил о «сердечной тайне». Поэма «Люблю» — поэтическая автобиография, где в противовес «очерствению сердечной почвы... между служб, доходов и прочего» утвердилось:

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

Атмосфера времени как будто навсегда вытеснила из языка человеческого слова: любовь, сердце, нежность. Тогда даже в поэзии считали «стального соловья» (Н. Асеев) более нужным людям, чем классически стихотворного «творца трелей» где-нибудь в запущенных аллеях помещичьего парка. Казалось, что живой соловей просто-напросто «классово чужд» строителям нового мира. И важно, что именно Маяковский напомнил о «сердечной почве» социального действия масс. Ведь без этого «сердечного участия» самые смелые прожекты о счастливом будущем человечества могут обернуться лишь созданием искусственного и холодного земного рая, годного разве что для мещанина, пусть и в «красном», так сказать, варианте. Мещанин и мещанство в советских одеждах — постоянная мишень сатиры и сарказма Маяковского. Он сражался с мещанством до последнего часа жизни — множество стихов, пьесы «Клоп» и «Баня». Он видел в мещанине злейшего врага революции, ее троянского коня. Под мещанством порой разумеют чисто внешние проявления — чистенький бытик, вещизм, сентиментальность, житейское безвкусие. Но все сложнее. Страшна прежде всего духовная его основа: неумение и нежелание мыслить, осознание себя не в народе или нации, отсутствие идеалов и наличие идолов... Питательная среда мещанства — быт: грозы и бури эпохи не мешают чириканью канареек и пересчитыванью слюнявками пальцами купюр.

«По личным мотивам об общем быте» — так писал Маяковский о поэме «Про это». Это едва ли не самая сложная его вещь. Она построена на свободной игре ассоциаций, на чередовании реально-бытовых фрагментов и фантастического гротеска. Маяковский использует в ней принципы киномонтажа. Напряженная, мощная интонация развивает тему.

Но почему всего лишь быт? Не мелко ли это для поэта-трибуна?

Для Маяковского быт не сводился к самоварно-двуспальному раю мещанства. «Обыденщины жуть» — стоглавый зверь, способный сожрать все, опохабить красоту и поэзию жизни, извратить само назначение человека. Ведь в перине он тонет чаще, чем в океане. Быт толкает человека во власть самых низких инстинктов — похоти, наживы, трусости, жадности, эгоизма:

В осень,
в зиму,
в весну,
в лето,

делал, как бы драматически ни складывалась его личная жизнь, лирик-трибун имел все основания утверждать:

Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —
тому виной
 глаза-небеса,
любимой
 моей
 глаза.

В л. С м и р н о в

А ВЫ МОГЛИ БЫ!

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

(1913)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МОЕЙ ЖЕНЕ

Морей неведомых далеким пляжем
идет луна —
жена моя.
Моя любовница рыжеволосая.
За экипажем
крикливо тянется толпа созвездий пестрополосая.
Венчается автомобильным гаражем,
целуется газетными киосками,
а шлейфа млечный путь моргающим пажем
украшен мишурными блестками.
А я?
Несло же, палимому, бровей коромысло
из глаз колодцев студеные ведра.
В шелках озерных ты висла,
янтарной скрипкой пели бедра?
В края, где злоба крыш,
не кинешь блесткой лесни.
В бульварах я тону, тоской песков оваян:

ведь это ж дочь твоя —
моя песня
в чулке ажурном
у кофеен!

(1913)

ПОСЛУШАЙТЕ!

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевóчки
жемчужиной?

И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную мýку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

(1914)

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал,
шатаюсь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»,
бросился на деревянную шею:
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте!
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.
«Знаете что, скрипка?

Давайте —
будем жить вместе!
А?»

(1914)

ОБЛАКО В ШТАНАХ

(Из поэмы)

1

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

«Приду в четыре», — сказала Мария.

Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон,
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.

Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя не важно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце — холодной железкою.

Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая —
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого:
должно быть, маленький,
смирный любёночек.
Она шарахается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю
лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась,
догна́ла,
зарезала,—
вон его!

Упал в двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождейки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.

Слышу:
тихо,

как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся
едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.
Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы —
большие,
маленькие,
многие! —
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как «нате!»,
муча перчатки замш,
сказала:
«Знаете —
я выхожу замуж».

Что ж, выходите.
Ничего.
Покреплюсь.
Видите — спокоен как!
Как пульс
покойника.

Помните?
Вы говорили:

«Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть»,—
а я одно видел:
вы — Джиоконда,
которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.
Что же!
И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?
«Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий».
Помните!
Погибла Помпея,
когда раздразили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев,—
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
«я»
для меня малб.
Кто-то из меня вырывается упрямо.

Allol
Кто говорит?
Мама?
Мама!

Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле,—
ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают —
запахло жареным!
Нагнали каких-то.
Блестящие!
В касках!
Нельзя сапожища!
Скажите пожарным:
на сердце горящее лезут в ласках.
Я сам.
Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем
из трещины губ
обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!
Петь не могу.
У церковки сердца занимается клирос!

Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,
как дети из горящего здания.
Так страх
схватиться за небо
высил
горящие руки «Лузитании».

Трясущимся людям
в квартирное тихо

стоглазое зарево рвется с пристани.
Крик последний,—
ты хоть
о том, что горю, в столетия выстони!

(1914—1915)

ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК

(Из 3-й части поэмы)

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творишь, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал —
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
«очень».
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавы!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
вырылись в лице твоём глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолади себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.

Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои —
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть в воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.

Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле.
Крикнул ему: «
«Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашёй ей,
робкие крылья в шелках зажирили б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!»

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

(1915)

КО ВСЕМУ

Нет.
Это неправда.
Нет!
И ты?
Любимая,
за что,
за что же?!
Хорошо —
я ходил,
я дарил цветы,
я ж из ящика не выкрал серебряных ложек!

Белый,
сшатался с пятого этажа.

Ветер щеки ожег.
Улица клубилась, визжа и ржа.
Похотливо взлазил рожок на рожок.

Вознес над суетой столичной одури
строгое —
древних икон —
чело.
На теле твоём — как на смертном бдре —
сердце
дни
кончило.

В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

Любовь!
Только в моем
воспаленном
мозгу была ты!
Глупой комедии остановите ход!
Смотрите —
срываю игрушки-латы
я,
величайший Дон-Кихот!

Помните:
под ношей креста
Христос
секунду
усталый стал.
Толпа орала:
«Марала!
Мааарррааала!»

Правильно!
Каждого,
кто
об отдыхе взмолится,
оплюй в его весеннем дне!

Армии подвижников, обреченным добровольцам
от человека пощады нет!

Довольно!

Теперь —
клянусь моей языческой силою! —
дайте
любую красивую,
юную,—
души не растрочу,
изнасилую
и в сердце насмешку плюну ей!

Око за око!

Севы мести в тысячу крат жни!
В каждое ухо ввой:
вся земля —
каторжник
с наполовину выбритой солнцем головой!

Око за око!

Убьете,
похороните —
выроюсь!
Об камень обточатся зубов ножи еще!
Собакой забьюсь под нары казарм!
Буду,
бешеный,
вгрызаться в ножища,
пахнущие потом и базаром.

Ночью вскóчите!

Я
звал!
Белым быком возрос над землей:
Муууу!
В ярмо замучена шея-язва,
над язвой смерчи мух.

Лосем обернусь,
в провода
впутая голову ветвистую
с налитыми кровью глазами.

Да!
Затравленным зверем над миром выстою.

Не уйти человеку!
Молитва у рта,—
лег на плиты просящ и грязен он.
Я возьму
намалюю
на царские врата
на божьем лице Разина.

Солнце! Лучей не кинь!
Сохните, реки, жажду утолить не дав ему,—
чтоб тысячами рождались мои ученики
трубить с площадей анафему!

И когда,
наконец,
на веков верхи став,
последний выйдет день им,—
в черных душах убийц и анархистов
зажгусь кровавым видением!

Светает.
Все шире разверзается неба рот.
Ночь
пьет за глотком глоток-он.
От окон зарево.
От окон жар течет.
От окон густое солнце льется на спящий город.

Святая месть моя!
Опять
над уличной пылью
ступенями строк ввысь поведи!
До края полное сердце
вылью
в исповеди!

Грядущие люди!
Кто вы?
Вот — я,
весь
боль и ушиб.
Вам завещаю я сад фруктовый
моей великой души.

(1916)

ЛИЛИЧКА!

Вместо письма

Дым табачный воздух выел.
Комната —
глава в крученыховском аде.
Вспомни —
за этим окном
впервые
руки твои, исступленный, гладил.
Сегодня сидишь вот,
сердце в железе.
День еще —
выгонишь,
может быть, изругав.
В мутной передней долго не влезет
сломанная дрожью рука в рукав.
Выбегу,
тело в улицу брошу я.
Дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась.
Не надо этого,
дорогая,
хорошая,
дай простимся сейчас.
Все равно
любовь моя —
тяжкая гиря ведь —
висит на тебе,
куда ни бежала б.
Дай в последнем крике вырветь
горечь обиженных жалоб.
Если быка трудом умóрят —
он уйдет,
разляжется в холодных водах.
Кроме любви твоей,
мне
нету моря,
а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Захочет покоя уставший слон —
царственный ляжет в опожаренном песке.
Кроме любви твоей,
мне
нету солнца,
а я и не знаю, где ты и с кем.

Если б так поэта измучила,
он
любимую на деньги б и славу выменял,
а мне
ни один не радостен звон,
кроме звона твоего любимого имени.
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
Надо мною,
кроме твоего взгляда,
не властно лезвие ни одного ножа.
Завтра забудешь,
что тебя короновал,
что душу цветущую любовью выжег,
и суетных дней взметенный карнавал
растреплет страницы моих книжек...
Слов моих сухие листья ли
заставят остановиться,
жадно дыша?

Дай хоть
последней нежностью выстелить
твой уходящий шаг.

26 мая 1916 г., Петроград

**СЕБЕ, ЛЮБИМОМУ,
ПОСВЯЩАЕТ ЭТИ СТРОКИ АВТОР**

Четыре.
Тяжелые, как удар.
«Кесарево кесарю — богу богово».
А такому,
как я,
ткнуться куда?
Где для меня уготовано логово?

Если б был я
маленький,
как Великий океан,—
на цыпочки б волн встал,
приливом ласкался к луне бы.
Где любимую найти мне,

такую, как и я?
Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!
Как миллиардер!
Что деньги душе?
Ненасытный вор в ней.
Моих желаний разнузданной орде
не хватит золота всех Калифорний.

Если б быть мне косноязычным,
как Дант
или Петрарка!
Душу к одной зажечь!
Стихами велеть истлеть ей!
И слова
и любовь моя —
триумфальная арка:
пышно,
бесследно пройдут сквозь нее
любовницы всех столетий.

О, если б был я
тихий,
как гром,—
ныл бы,
дрождю объял бы земли одряхлевший скит.
Я
если всей его мощью
выреву голос огромный —
кометы заломят горящие руки,
бросятся вниз с тоски.

Я бы глаз лучами грыз ночи —
о, если б был я
тусклый,
как солнце!
Очень мне надо
сияньем моим поить
земли отощавшее лонце!

Пройду,
любвищу мою волоча.
В какой ночи,
бредово́й,
недужной,

какими Голиафами я зачѣт —
такой большой
и такой ненужный?

(1916)

ЧЕЛОВЕК

(Из главы «Маяковский векам»)

И вижу, над домом
по риску откоса
лучами идешь,
собираешь их в копны.
Тянусь,
но туманом ушла из-под носа.
И снова стою
онемелый и вкопанный.
Гуляк полуночных толпа раскололась,
почти что чувствую запах кожи,
почти что дыханье,
почти что голос,
я думаю — призрак,
он взял да и ожил.

Рванулась,
вышла из воздуха уз она.
Ей мало
— одна! —
раскинулась в шестивие.
Ожившее сердце шарахнулось грузно.
Я снова земными мученьями узнан.
Да здравствует
— снова! —
мое сумасшествие!..

.

— Прохожий!
Это улица Жуковского?

Смотрит,
как смотрит дитя на скелет,
глаза вот такие,
старается мимо.

«Она — Маяковского тысячи лет:
он здесь застрелился у двери любимой».
Кто,
я застрелился?
Такое загнут!
Блестящую радость, сердце, вычеканы!
Окну
лечу.
Небес привычка.

Высоко.
Глубже ввысь зашел
за этажем этаж.
Завесилась.
Смотрю за шелк —
все то же,
спальня та ж.

Сквозь тысячи лет прошла — и юна.
Лежишь,
волосá луною высиня.
Минута...
и то,
что было — луна,
его оказалась голая лысина.

Нашел!

Теперь пускай поспят.
Рука,
кинжала жало стиснь!
Крадусь,
приглядываюсь —
и опять!
люблю
и вспять
иду в любви и в жалости.

Доброе утро!

Зажглось электричество.
Глаз два выката.
«Кто вы?» —

«Я Николаев
— инженер.
Это моя квартира.
А вы кто?
Чего пристаёте к моей жене?»

Чужая комната.
Утро дрогло.
Трясая уголками губ,
чужая женщина,
раздетая догола.

Бегу.

Растерзанной тенью,
большой,
косматый,
несуь по стене,
луной облитый.
Жильцы выбегают, запахивая халаты.
Гремлю о плиты.
Швейцара ударами в угол загнал.
«Из сорок второго
куда ее дели?» —
«Легенда есть:
к нему
из окна.
Вот так и валялись
тело на теле».

Куда теперь!
Куда глаза
глядят.
Поля?
Пускай поля!
Траля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля, дзин-дза,
тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля!

Петлей на шею луч накинь!
Сплетусь в палящем лете я!
Гремят на мне
наручники,
любви тысячелетия...
Погибнет все.
Сойдет на нет.

И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.
И только
боль моя
острей —
стою,
огнем обвит,
на несгорающем костре
немыслимой любви.

(1916—1917)

ЛЮБЛЮ

(Из поэмы)

Взрослое

У взрослых дела.
В рублях карманы.
Любить?
Пожалуйста!
Рубликов за сто.
А я,
бездомный,
ручища
в рваный
в карман засунул
и шлялся, глазастый.
Ночь.
Надеваете лучшее платье.
Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых.
В сердца,
в часишки
любовницы тикают.
В восторге партнеры любовного ложа.
Столиц сердцебиение дикое
ловил я,

Страстнóю площадью лежа.
Враспашку —
сердце почти что снаружи —
себя открываю и солнцу и луже.
Входите страстями!
Любовями влазьте!
Отныне я сердцем править не властен.
У прочих знаю сердца дом я.
Оно в груди — любому известно!
На мне ж
с ума сошла анатомия.
Сплошное сердце —
гудит повсеместно.
О, сколько их,
одних только вёсен,
за 20 лет в распалённого ввалено!
Их груз нерастраченный — просто несносен.
Несносен не так,
для стиха,
а буквально.

Так и со мной

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну, а меня к тебе и подавней
— я же люблю! —
тянет и клонит.
Скупой спускается пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь.
Так я
к тебе возвращаюсь,—
разве,
к тебе иду,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я

к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

Вывод

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

(1922)

ПРО ЭТО

(Из поэмы)

Про что — про это?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.

Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
— Скреби! —

И калека
с бумаги
срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —

Эта тема придет,
велит:
— Красота! —

И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится
—А—

недоступней Казбека.
Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не износится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —
И глядишь на нее,
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знамени.
Это хитрая тема!
Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь
— посмели забыть ее! —

строчишь,
и становятся души строчными,
и любишь стихом,
а в прозе не мою.
Ну вот, не могу сказать,
не умею.
Но где, любимая,
где, моя милая,
где
— в песне! —
любви моей изменил я?
Здесь
каждый звук,
чтоб признаться,
чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.

В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами,
Ни с места! — крикну.
— Цел! —

Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.

Вера

Пусть во что хотите жданья удлинятся —
вижу ясно,
ясно до галлюцинаций.

До того,
что кажется —
вот только с этой рифмой
развяжись,

и вбежишь
по
строчке
в изумительную жизнь.

Мне ли спрашивать —
да эта ли?
Да та ли?!

Вижу,
 вижу ясно, до деталей.
 Воздух в воздух,
 будто камень в камень,
 недоступная для тленов и крошений,
 рассыпавшись,
 выситя веками
 мастерская человеческих воскрешений.
 Вот он,
 большелобый
 тихий химик,
 перед опытом наморщил лоб.
 Книга —
 «Вся земля»,—
 выискивает имя.
 Век двадцатый.
 Воскресить кого б?
 — Маяковский вот...
 Поищем ярче лица —
 недостаточно поэт красив.—
 Крикну я
 вот с этой,
 с нынешней страницы:
 — Не листай страницы!
 Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи
 Кровищу —
 до последних жил.

В череп мысль вдолби!
 Я свое, земное, не дожил,
 на земле
 свое не долюбил.
 Был я сажень ростом.
 А на что мне сажень?
 Для таких работ годна и тля.
 Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
 вплющился очками в комнатный футляр.
 Что хотите, буду делать даром —
 чистить,
 мыть,
 стеречь,
 мотаться,
 месть.
 Я могу служить у вас
 хотя б швейцаром.

вот такая,
как на карточке в столе.
Она красивая —
ее, наверно, воскресят.
Ваш
тридцатый век
обгонит стаи
сердце раздиравших мелочей.
Нынче недолюбленное
наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси
хотя б за то,
что я
поэтом
ждал тебя,
откинул будничную чушь!
Воскреси меня
хотя б за это!
Воскреси —
свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
похоти,
хлебов.
Постели прокляв,
встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
на первый крик:
— Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
в родне
отныне
стать
отец,
по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере, — мать.

(1923)

ХОРОШО!
ОКТЯБРЬСКАЯ ПОЭМА

(Главы из поэмы)

13

Двенадцать
 квадратных аршин жилья.
Четверо
 в помещении —
Лиля,
 Ося,
 я
и собака
Щеник.
Шапчонку
 взял
 оборванную
и вытащил салазки:
— Куда идешь? —
 В уборную
иду.
 На Ярославский.
Как парус,
 шуба
 на весу,
воняет
 козлом она.
В санях
 полено везу,
забрал
 забор разломанный.
Полено —
 тушею,
тверже камня.
Как будто
 вспухшее
колено
 великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
 вымок.
Важно
 и чинно
строгаю перочинным.

Нож —
 ржа.
Режу.
 Радуюсь.
В голове
 жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
 поет
 в уши —
это
 тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулк
свернулись,
 уснули.
Приходят
 люди,
ходят,
 будят.
Добудились еле —
с углей
 угорели.
В окно —
 сугроб.
 Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
 в ночь
 идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
 наклонившийся
 на комнату мою,
морем
 заката
 облёт.
По розовой
 глади
 моря, на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
 за розовую,
бросать якоря,

туда,
 где березовые
дрова
 горят.
Я
 много
 в теплых странах плутал.
Но только
 в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
любовей,
 дружб
 и семей.
Лишь лежа
 в такую вот гололедь,
зубами
 вместе
 проляскав —
поймешь:
 нельзя
 на людей жалеть
ни одеяло,
 ни ласку.
Землю,
 где воздух,
 как сладкий морс,
бросишь
 и мчишь, колеся,—
но землю,
 с которою
 вместе мерз,
вовек
 разлюбить нельзя.

14

Скрыла
 та зима,
 худа и строга,
всех,
 кто навек
 ушел ко сну.

Где уж тут словам!
И в этих
строках

боли
волжской
я не коснусь.

Я
дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней в родне.

Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы-
водники —

не очень
сытенькие,
не очень
голоденькие.

Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.

Круглые
да карие,
горячие
до гари.

Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.

Врач наболтал —
чтоб глаза
 глазели,
нужна
 теплота,
нужна
 зелень.
Не домой,
 не на суп,
а к любимой
 в гости,
две
 морковинки
 несу
за зеленый хвостик.
Я
 много дарил
 конфет да букетов,
но больше
 всех
 дорогих даров
я помню
 морковь драгоценную эту
и пол-
 полена
 березовых дров.
Мокрые,
 тощие
под мышкой
 дровинки,
чуть
 потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
 щелки.
Зелень
 и ласки
выходили глазки.
Больше
 блюдца
смотрят
 революцию.
Мне
 легше, чем всем,—

я
Маяковский.
Сижу
и ем
кусочек
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!
— Завтра новогодие —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
щепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не вáлится —
примерзла
к пальцам.
За
стенкой
шарк:
«Иди,
жена,

продай
 пиджак,
купи
 пшена».
Окно,—
 с него
идут
 снега,
мягка
 снегов,
тиха
 нога.
Бела,
 гола
столиц
 скала.
Прилип
 к скале
лесов
 скелет.
И вот
 из-за леса
 небу в шаль
вползает
 солнца
 вша.
Декабрьский
 рассвет,
 изможденный и поздний,
встает
 над Москвой
 горячкой тифозной.
Ушли
 тучи
к странам
 тучным.
За тучей
 берегом
лежит
 Америка.
Лежала,
 лакала
кофе,
 какао.
В лицо вам,

толще
свинных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,—
нельзя
никогда
забыть!

(1927)

**ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ
ИЗ ПАРИЖА
О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ**

Простите
меня,
товарищ Костров,
с присущей
душевной ширью,
что часть
на Париж отпущенных строф
на лирику
я
растранжирю.
Представьте:
входит
красавица в зал,

в меха
 и бусы оправленная.
 Я
 эту красавицу взял
 и сказал:
 — правильно сказал
 или неправильно? —
 Я, товарищ,—
 из России,
 знаменит в своей стране я,
 я видал
 девиц красивей,
 я видал
 девиц стройнее.
 Девушкам
 поэты любви.
 Я ж умен
 и голосист,
 заговариваю зубы —
 только
 слушать согласись.
 Не поймать
 меня
 на дряни,
 на прохожей
 паре чувств.
 Я ж
 навек
 любовью ранен —
 еле-еле волочусь.
 Мне
 любовь
 не свадьбой мерить:
 разлюбила —
 уплыла.
 Мне, товарищ,
 в высшей мере
 наплевать
 на купола.
 Что ж в подробности вдаваться,
 шулки бросьте-ка,
 мне ж, красавица,
 не двадцать,—
 тридцать...
 с хвостиком.

это состояние?
На земле
 огней — до неба...
В синем небе
 звезд —
 до черта.
Если б я
 поэтом не был,
я бы
 стал бы
 звездочетом.
Подымает площадь шум,
экипажи движутся,
я хожу,
 стишки пишу
в записную книжицу.
Мчат
 авто
 по улице,
а не свалят наземь.
Понимают
 умницы:
человек —
 в экстазе.
Сонм видений
 и идей
полон
 до крышки.
Тут бы
 и у медведей
выросли бы крылышки.
И вот
 с какой-то
 грошовой столовой,
когда
 докипело это,
из зева
 до звезд
 взвивается слово
золоторожденной кометой.
Распластан
 хвост
 небесам на треть,
блестит
 и горит оперенье его,

чтоб двум влюбленным
на звезды смотреть
из ихней
беседки сиреневой.
Чтоб подымать,
и вести,
и влечь,
которые глазом ослабли.
Чтоб вражьи
головы
спиливать с плеч
хвостатой
сияющей саблей.
Себя
до последнего стука в груди,
как на свиданье,
простаивая,
прислушиваюсь:
любовь загудит —
человеческая,
простая.
Ураган,
огонь,
вода
подступают в ропоте.
Кто
сумеет
совладать?
Можете?
Попробуйте...

(1928)

ПИСЬМО
ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик

тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав —
тубо —

собакам
озверевшей страсти.
Ты одна мне
ростом вровень,
стань же рядом
с бровью брови,
дай
про этот
важный вечер
рассказать
по-человечьи.
Пять часов,
и с этих пор
стих
людей
дремучий бор,
вымер
город заселенный,
слышу лишь
свисточный спор
поездов до Барселоны.
В черном небе
молний поступь,
гром
ругней
в небесной драме,—
не гроза,
а это
просто
ревность
двигает горами.
Глупых слов
не верь сырью,
не пугайся
этой тряски,—

я взнуздаю,
я смирю
чувства
отпрысков дворянских.
Страсти корь
сойдет коростой,
но радость
неиссыхаемая,
буду долго,
буду просто
разговаривать стихами я.
Ревность,
жены,
слезы...
ну их! —
вспухнут веки,
впору Вию.
Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих,—
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их

в ужины
 с нефтяниками.
Ты не думай,
 щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
 иди на перекресток
моих больших
 и неуклюжих рук.
Не хочешь?
 Оставайся и зимуй,
и это
 оскорбление
 на общий счет нанижем.
Я все равно
 тебя
 когда-нибудь возьму —
одну
 или вдвоем с Парижем.

(1928)

[НЕОКОНЧЕННОЕ]

I

Любит? не любит? Я руки ломаю
и пальцы
 разбрасываю разломавши
так рвут загадав и пускают
 по маю
венчики встречных ромашек
пускай седины обнаруживает стрижка и бритье
Пусть серебро годов вызванивает
 уймою
надеюсь верую вовеки не придет
ко мне позорное благоразумие

IV

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм
Мне незачем тебя будить и беспокоить

Как говорят инцидент исперчен
любовная лодка разбилась о быт
С тобой мы в расчете и не к чему перечень
взаимных болей бед и обид
Ты посмотри какая в мире тишь
Ночь обложила небо звездной данью
в такие вот часы встаешь и говоришь
векам истории и мирозданию

(1928—1930)

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения и отрывки из поэм В. В. Маяковского располагаются по хронологии. Это позволяет представить развитие темы и ее художественные решения во времени, во времени лично-биографическом (жизнь поэта) и историческом (условия и обстоятельства эпохи).

Для книги избраны стихотворения и отрывки из поэм, в которых «прямо» говорится о любви. В этом, разумеется, есть некое насилие, несколько разрушающее целостность творчества. Такова судьба всякого небольшого избранного, тем более тематического. Было бы неверно думать, что творчество Маяковского, да и всякого большого поэта, можно разделить на какие-то реестры: о революции, о труде, о Родине, о любви и т. д. Всякая строка Маяковского есть свидетельство «о времени и о себе». Потому здесь печатаются несколько ранних стихотворений («А вы могли бы?», «Несколько слов о моей жене», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»), в которых важна не столь любовно-лирическая стихия, а то, что называется «взглядом на мир», жизненной и художественной философией поэта. Читая эту книгу, следует помнить, что перед нами лишь небольшая часть того огромного явления, имя которому — Владимир Маяковский.

Художественные тексты печатаются по изданию: ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в тринадцати томах. М., 1955—1961.

А вы могли бы! (стр. 14). Одно из первых опубликованных стихотворений Маяковского. Оно очень характерно для ранней манеры поэта: веселая издевка над здравым смыслом, необычная и грубо-вещная образность, намеренное желание сбить с толку читателя, скрежещущая звукопись, противопоставленная стиховому «напеву», сталкивание в смысловом ряду разностильных слов: зовы, ноктюрн, флейта и... стакан, студень, водосточные трубы. Кажущаяся

нарочитость образов — от новизны и точности поэтической оптики: косые скулы человеческого лица при движении напоминают морские волны, водосточные трубы с поперечными «ребрами» и верхним раструбом похожи на флейту, кларнет, да они и звучат при ветре, дожде, становятся частью «музыки большого города». Ноктюрн — небольшое музыкальное произведение лирического характера.

Несколько слов о моей жене [стр. 14]. Стихотворение из цикла «Я!», который был напечатан отдельным изданием в 1913 году. Это была первая «книжка» Маяковского, состоящая из четырех стихотворений. «Несколько слов о моей жене», а также «Любовь», «От усталости», «Скрипка и немножко нервно» — яркое выражение «футуристических изломов» молодого Маяковского: изощренные и эпатажные образы, полемический антиэстетизм, демонстративная несуразность («причешите мне уши»), но вместе с тем и отвержение унылой, тусклой, бесчеловечной обыденности. Здесь сказалась попытка Маяковского передать бессмыслицу жизни аналогичными средствами.

Скрипка и немножко нервно [стр. 16]. Кузнецкий — Кузнецкий мост, улица в Москве, где находились модные магазины. Геликон — медный духовой инструмент. Пюпитры — подставки для нот.

Облако в штанах [стр. 17]. Первая поэма Маяковского. Состоит из вступления и четырех частей. В предисловии к изданию 1918 года поэт писал: «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей». Печатается первая часть, то есть — «долой вашу любовь». Мария — героиня поэмы. Канделябры — большие подсвечники с разветвлениями для свечей или электрических лампочек в форме свечей. Химеры собора Парижской богородицы — скульптурные изображения мифических чудовищ (в древнегреческой мифологии химеры имели львиную пасть, хвост дракона, козью туловище) на здании знаменитого собора — шедевра средневековой архитектуры. Джек Лондон — известный американский писатель (1876—1916). Его творчество, особенно роман «Мартин Иден», привлекало внимание Маяковского близостью идей и чувств. В 1917 году Маяковский написал по мотивам романа сценарий для фильма «Не для денег родившийся», в котором сыграл главную роль. Джиоконда — знаменитая картина Леонардо да Винчи, одно из величайших созданий мирового искусства, женский портрет. В 1911 году картина была украдена из Лувра, что потрясло общественное мнение Европы и широко обсуждалось. Помпея — древнеримский город, погибший во время извержения вулкана Везувия в 79 году н. э. Гибель Помпеи стала образом колоссальной катастрофы вообще и много раз использовалась в искусстве. Например, известная картина К. Брюллова. Мама — Александра Алексеевна Маяковская (1867—1954) — мать поэта. Сестрам, Люде и Оле... — Людмила Владимировна Маяковская (1884—1972), Ольга Владимировна Маяковская (1890—1949) — родные сестры поэта. Клирос — место для певчих в церкви или сами поющие на клиросе, церковный хор. «Лузитания» —

английский пассажирский пароход, торпедированный германской подводной лодкой у берегов Ирландии в мае 1915 года. 1200 человек погибло. Во всем мире это событие было воспринято как ужасающее зверство германского милитаризма.

Флейта-позвоночник (стр. 22). Поэма «Флейта-позвоночник» написана и издана в 1915 году. Первоначальное заглавие в черновиках «Стихи ей» — свидетельство сугубо лирического характера поэмы. Печатается большая часть третьей главы. Название поэмы обыгрывает внешнее сходство флейты и позвоночника млекопитающих. *Ладан* — ароматическая смола, употребляемая при богослужении. *Победу Пиррову.* — Пирр — герой древнегреческой мифологии. Выражение означает победу, которая из-за принесенных жертв равна поражению.

Ко всему (стр. 24). Анафема — отлучение от церкви, проклятие.

Себе, любимому, посвящает эти строки автор (стр. 29). «Кесарево кесарю — богу богово» — библейское выражение, ответ Иисуса Христа посланным от фарисеев. Выражение стало мирским афоризмом, решительно отделяющим «земную» истину от «небесной». *Великий океан* — Тихий океан. *Калифорния* — североамериканский штат, нарицательный образ богатства и процветания. *Дант* — Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, создатель литературного итальянского языка. *Петрарка* — Франческо Петрарка (1304—1374) — великий итальянский поэт и гуманист эпохи Возрождения. *Скит* — глухое место, где селились монахи-отшельники. *Голиаф* — библейский великан, олицетворение мощи, все-таки побежденной.

Человек (стр. 31). Поэма «Человек» написана в 1916—1917 годах. В первом издании имела подзаголовок «вещь». В таком определении жанра сказались антиэстетические устремления молодого Маяковского: вместо возвышенного «поэма» обыденно-конкретное — «вещь». Поэма автобиографична, подлинны даже адреса. Печатается фрагмент из главы «Маяковский векам».

Люблю (стр. 34). Поэма «Люблю» носит автобиографический характер. Печатаются главы «Взрослое» и «Так и со мной». *Кдльцом... бесконечных Садовых* — улицы в Москве, образующие Садовое кольцо. *Скупой... пушкинский рыцарь* — главный персонаж «маленькой» трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» — олицетворение неистойвой алчности и скупости.

Про это (стр. 36). Поэма «Про это» — одно из сложнейших произведений Маяковского. Печатаются вступление «Про что—про это?», фрагмент из главы

«Ночь под Рождество» (всего в поэме две главы) и эпилог «Прошение на имя...». Будда — «просветленный», легендарный основатель религии в VI веке до н. э. в Индии. Буддизм — одна из четырех мировых религий, распространенная в Индии, Китае, Индокитае, Японии и других странах Востока. Сердцелюдый — живое существо, способное любить, страдать, мыслить. Типичный образец словотворчества Маяковского. Зоологические аллеи — аллеи в зоопарке.

Хорошо! (стр. 41). Печатаются главы 13 и 14 «Октябрьской поэмы». На Ярославский — железнодорожный вокзал в Москве. Боли волжской — голод в Поволжье в 1921—1922 годах, унесший миллионы жизней. Оля — О. В. Маяковская (см. прим. к стр. 17—22). Пресня — улица и район в Москве, где жили мать и сестры Маяковского.

Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви (стр. 48). Костров Тарас—псевдоним А. С. Мартыновского (1901—1930), редактора «Комсомольской правды» и журнала «Молодая гвардия», в которых активно сотрудничал Маяковский, находил понимание и поддержку.

[Неоконченное] (стр. 55). Печатаются два из пяти отрывков 1928—1930 годов. Были опубликованы после смерти поэта. Есть основания считать, что они написаны во время работы над «Во весь голос». Строки 5—8 четвертого отрывка в несколько измененном виде вошли в предсмертное письмо Маяковского. Инцидент исперчен — иронический вариант выражения «инцидент исчерпан».

СОДЕРЖАНИЕ

Вл. Смирнов. «Сплошное сердце»	3
А вы могли бы?	14
Несколько слов о моей жене	14
Послушайте!	15
Скрипка и немножко нервно	16
Облако в штанах (Из поэмы)	17
Флейта-позвоночник (Из поэмы)	22
Ко всему	24
Лиличка!	28
Себе, любимому, посвящает эти строки автор	29
Человек (Из поэмы)	31
Люблю (Из поэмы)	34
Про это (Из поэмы)	36
Хорошо! (Из поэмы)	43
Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви	50
Письмо Татьяне Яковлевой	54
[Неоконченное]	57
Примечания	59

Для средней школы

Владимир Владимирович Маяковский

СПЛОШНОЕ СЕРДЦЕ

Стихотворения и отрывки из поэм

Ответственный редактор Н. М. Кожемякина. Художественный редактор Л. Д. Брюкова. Технический редактор Л. П. Костикова. Корректоры М. Ю. Сиротникова и Н. Г. Худякова.

ИБ № 6882

Сдано в набор 15.03.83. Подписано к печати 14.06.83. Формат 60×90^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Шрифт журн. рубл. Печать высокая. Усл. печ. л. 4,0. Усл. кр.-отт. 4,5. Уч.-изд. л. 3,47. Тираж 3 000 000 (2-й завод 1 000 001—2 000 000 экз.). Заказ № 2721. Цена 10 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли, 103720. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суэвский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Маяковский В.

М39 Сплошное сердце; Стихотворения и отрывки из поэм/ Сост., предисл. и примеч. Вл. Смирнова.— М.: Дет. лит., 1983,— 63 с.— (Школьная б-ка).

10 к.

В книгу входят стихотворения («А вы могли бы?», «Послушайте!»), «Письмо товарищу Кострову о сущности любви» и др.) и отрывки из поэм «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Человек», «Про это», «Хорошо!» и др., в которых прямо говорится о любви. Работая над поэмой «Про это», поэт писал: «Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи, и дела, и всё пр. Любовь — это сердце всего...»

С предисловием и примечаниями Вл. Смирнова.

М 4803010101—390 147—83
М101{03}83

Р2

10 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

